

Левый берег (сборник)

Автор:

Варлам Шаламов

Левый берег (сборник)

Варлам Тихонович Шаламов

Варлам Шаламов – писатель сложной и драматической судьбы – известен как поэт, автор поэтических и прозаических сборников. Будучи репрессирован, писатель семнадцать лет провел в лагерях и все увиденное и пережитое легло в основу сборника колымских рассказов «Левый берег».

Варлам Шаламов

Левый берег (сборник)

Прокуратор Иудеи

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были привезены не гости, а истинные хозяева этой земли – заключенные.

Все начальство города, военное и штатское, было в порту. Все бывшие в городе грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «КИМ». Солдаты, кадровые войска окружили мол, и выгрузка началась.

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Магадану порожняком, подчиняясь зову селектора.

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем.

Наиболее тяжелых, но еще живых – развозили по больницам для заключенных в Магадане, Оле, Армани, Дукче.

Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключенных – на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего километра. Приди бы пароход «КИМ» годом раньше – ехать за пятьсот километров не пришлось бы.

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не были ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умерших в пути. Хирург понимал, что это легкие, транспортабельные, те, что полегче, а самых тяжелых оставляют на месте.

Хирург повторял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после войны удалось ему прочитать: «Фронтной опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях».

Кубанцев терял хладнокровие. Не знал, что приказать, с чего начать. Колыма обрушила на фронтового хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары снимали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы, гной пахнет везде одинаково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут раны тех первых его больных на Колыме.

Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет выдержку, не знает, что приказать санитарам, фельдшерам, врачам.

– Алексей Алексеевич, – услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с должности приказом высшего начальства только потому, что Браудэ был бывшим заключенным, да еще с немецкой фамилией. – Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я здесь десять лет.

Взволнованный Кубанцев уступил место командиру, и работа завертелась. Три хирурга начали операции одновременно – фельдшера вымыли руки, как ассистенты. Другие фельдшера делали уколы, наливали сердечные лекарства.

– Ампутации, только ампутации, – бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой операции, без единого разреза. – Сейчас скучать не придется, – радовался Браудэ. – А Кубанцев хоть и парень неплохой, а растерялся. Фронтальной хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а вот вам живая жизнь, Колыма!

Но Браудэ был незлой человек. Снятый без всякого повода со своей должности, он не возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел растерянность Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как-никак у человека семья, жена, сын-школьник. Офицерский полярный паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у Браудэ? Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова, ученик знаменитого Краузе и сам обещал очень много. Но тридцать седьмой год вдребезги разбил всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи...

И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раздумья часто ругал себя за эту презренную забывчивость – переделать себя он не мог.

Сегодня решил: «Уйду из больницы. Уеду на материк».

...Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом – тремя тысячами заключенных. В пути заключенные подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе. Что такое отморожение третьей-четвертой степени, как говорил Браудэ, – или обморожение, как выражался Кубанцев, – Кубанцеву дано было знать в первый

день его колымской службы ради выслуги лет.

Все это надо было забыть, и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так и сделал. Заставил себя забыть.

Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого фельдшера из заключенных, каждую медсестру, вспоминал, кто с кем из заключенных «жил», имея в виду лагерные романы. Вспомнил подробный чин каждого начальника из тех, что поподлее. Одного только не вспомнил Кубанцев – парохода «КИМ» с тремя тысячами обмороженных заключенных.

У Анатоля Франса есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа.

1965

Прокаженные

Сразу после войны на моих глазах в больнице была сыграна еще одна драма – вернее, развязка драмы.

Война подняла со дна жизни и вынесла на свет такие пласты, такие куски жизни, которые всегда и везде скрывались от яркого солнечного света. Это – не уголовщина и не подпольные кружки. Это – совсем другое.

Во время военных действий были сломаны лепрозории, и прокаженные смешались с населением. Тайная ли это или явная война? Химическая или бактериологическая?

Пораженные проказой легко выдавали себя за раненых, за увечных во время войны. Прокаженные смешались с бегущими на восток, вернулись в настоящую, хоть и страшную жизнь, где их принимали за жертв войны, за героев, быть может.

Прокаженные жили, работали. Надо было кончиться войне, чтобы о прокаженных вспомнили врачи, и страшные картотеки лепрозориев стали пополняться снова.

Прокаженные жили среди людей, разделяя отступление, наступление, радость или горечь победы. Прокаженные работали на фабриках, на земле. Становились начальниками и подчиненными. Солдатами они только не становились никогда – мешали культи пальцев, похожие, неотличимые от военных травм. Прокаженные и выдавали себя за увечных войны – единицы среди миллионов.

Сергей Федоренко был заведующим складом. Инвалид войны, он ловко справлялся со своими непослушными обрубками пальцев и хорошо выполнял свое дело. Его ждали карьера, партбилет, но, добравшись до денег, Федоренко начал пить, гулять, был арестован, судим и приплыл с одним из рейсов колымских кораблей в Магадан, как осужденный на десять лет по бытовой статье.

Здесь Федоренко переменял свой диагноз. Хотя и здесь хватало увечных, саморубов, например. Но было выгоднее, моднее, незаметнее раствориться в море отморожений.

Вот так я его и встретил в больнице – последствия отморожения третьей-четвертой степени, незаживающая рана, культя стопы, культя пальцев обеих кистей.

Федоренко лечился. Лечение не давало результатов. Но ведь всякий больной боролся с лечением, как мог и умел. Федоренко после многих месяцев трофических язв выписался, и, желая задержаться в больнице, Федоренко стал санитаром, попал старшим санитаром в хирургическое отделение мест на триста. Больница эта была больница центральная, на тысячу коек только заключенных. В пристройке на одном из этажей была больница для вольнонаемных.

Случилось так, что врач, который вел историю болезни Федоренко, заболел и вместо него «записывать» стал доктор Красинский, старый военный врач, любитель Жюль Верна (почему?), человек, в ком колымская жизнь не отбила желания поболтать, побеседовать, обсудить.

Осматривая Федоренко, Красинский был поражен чем-то – он и сам не знал чем. Со студенческих лет поднималась эта тревога. Нет, это не трофическая язва, не обрубок от взрыва, от топора. Это медленно разрушающаяся ткань. Сердце Красинского застучало. Он вызвал Федоренко еще раз и потащил его к окну, к свету, жадно вглядываясь в лицо, сам себе не веря. Это – лепра! Это – львиная маска. Человеческое лицо, похожее на морду льва. Красинский лихорадочно листал учебники. Взял большую иглу и несколько раз уколол белое пятнышко, которых было немало на коже Федоренко. Никакой боли! Обливаясь потом, Красинский написал рапорт по начальству. Больной Федоренко был изолирован в отдельную палату, кусочки кожи для биопсии были отправлены в центр, в Магадан, а оттуда – в Москву. Ответ пришел недели через две. Лепра! Красинский ходил именинником. Начальство переписывалось с начальством о выписке наряда в Колымский лепрозорий. Там лепрозорий на острове расположен, а на обоих берегах стоят наведенные на переправу пулеметы. Наряд, нужен был наряд.

Федоренко не отрицал, что он был в лепрозории и что прокаженные, предоставленные сами себе, бежали на волю. Одни – догонять отступавших, другие – встречать гитлеровцев. Так, как и в жизни. Федоренко ждал отправки спокойно, но бушевала больница. Вся больница. И те, которых избивали на допросах и чья душа была превращена в прах тысячами допросов, а тело изломано, измучено непосильной работой – со сроками двадцать пять и пять – сроками, которые нельзя было прожить, выжить, остаться в живых... Все трепетали, кричали, проклинали Федоренко, боялись проказы.

Это тот же самый психический феномен, который заставляет беглеца отложить хорошо подготовленный побег потому, что в лагере в этот день дают табак – или «ларек». Сколько есть лагерей – столько есть таких странных примеров, далеких от логики.

Человеческий стыд, например. Где его границы и мера? Люди, у которых погибла жизнь, растоптаны будущее и прошлое, вдруг оказывались во власти какого-то пустячного предрассудка, какой-то чепухи, которую люди не могут почему-то переступить, не могут почему-то отвергнуть. И это внезапное проявление стыда возникает как тончайшее человеческое чувство и вспоминается потом всю жизнь как что-то настоящее, как что-то бесконечно дорогое. В больнице был случай, когда фельдшеру, который не был еще фельдшером, а просто помогал, – поручили брить женщин, брить женский этап. Развлекающееся начальство приказало женщинам брить мужчин, а мужчинам –

женщин. Каждый развлекается как умеет. Но парикмахер-мужчина умолял свою знакомую сделать этот обряд санобработки самой и никак не хотел подумать, что ведь загублена жизнь; что все эти развлечения лагерного начальства – это все лишь грязная накипь на этом страшном котле, где намертво варится его собственная жизнь.

Это человеческое, смешное, нежное обнаруживается в людях внезапно.

В больнице была паника. Ведь Федоренко работал несколько месяцев там. Увы, продромальный период заболевания, до появления внешних признаков болезни, у проказы продолжается несколько лет. Мнительные были обречены сохранить страх в своей душе навеки, вольные и заключенные – все равно.

Паника была в больнице. Врачи лихорадочно искали у больных и у персонала эти белые нечувствительные пятнышки. Иголка стала вместе с фонендоскопом и молоточком неотделимой принадлежностью врача для первичного осмотра.

Больного Федоренко приводили и раздевали перед фельдшерами, врачами. Надзиратель с пистолетом стоял поодаль больного. Доктор Красинский, вооруженный огромной указкой, рассказывал о лепре, протягивая палку то к львиному лицу бывшего санитаря, то к его отваливающимся пальцам, то к блестящим белым пятнам на его спине.

Пересмотрены были буквально все жители больницы, вольные и заключенные, и вдруг белое пятнышко, нечувствительное белое пятнышко, оказалось на спине Шуры Лещинской, фронтовой сестры – ныне дежурной женского отделения. Лещинская в больнице была недавно, несколько месяцев. Никакой львиной маски. Вела Лещинская себя не строже и не снисходительней, не громче и не развязней, чем любая больничная сестра из заключенных.

Лещинская была заперта в одной из палат женского отделения, а кусочек ее кожи увезен в Магадан, в Москву на анализ. И ответ пришел: лепра!

Дезинфекция после проказы – трудное дело. Полагается сжигать домик, в котором жил прокаженный. Так велят учебники. Но сжечь, выжечь одну из палат огромного двухэтажного дома, дома-гиганта! На это никто не решался. Подобно тому, как при дезинфекции дорогих меховых вещей идут на риск, оставляя заразу, но сохраняя пушное богатство – лишь символически побрызгав на

драгоценные меха, – ибо от «жарилки», от высокой температуры, погибнут не только микробы, погибнут и сами вещи. Начальство молчало бы даже в случае чумы или холеры.

Кто-то взял на себя ответственность не сжигать. Палату, в которой был заперт Федоренко, ожидавший отправки в лепрозорий, тоже не сжигали. А просто залили все фенолом, карболкой, опрыскивали многократно.

Сейчас же появилась новая важная тревога. И Федоренко и Лещинская каждый занимали по большой палате на несколько коек.

Ответ и наряд – наряд на двух человек, конвой на двух человек все еще не приходил, не приезжал, как ни напоминало начальство в своих ежедневных, вернее, еженочных телефонограммах в Магадан.

Внизу, в подвале, было выгорожено помещение и построены две маленькие камеры для арестантов-прокаженных. Туда перевели Федоренко и Лещинскую. Запертые на тяжелый замок, с конвоем, прокаженные были оставлены ждать приказа, наряда в лепрозорий, конвоя.

Сутки прожили в своих камерах Федоренко и Лещинская, а через сутки смена часовых нашла камеры пустыми.

В больнице началась паника. Все в камерах было на месте, окна и двери.

Красинский догадался первый. Они ушли через пол.

Силач Федоренко разобрал бревна, вышел в коридор, ограбил хлебрезку, операционную хирургического отделения и, собрав весь спирт, все настойки из шкафчика, все «кодеинчики», уволок добычу в подземную нору.

Прокаженные выбрали место, выгородили ложе, набросали на него одеял, матрасов, загородились бревнами от мира, конвоя, больницы, лепрозория и прожили вместе, как муж и жена, несколько дней, три дня, кажется.

На третий день и сыскные люди, и сыскные собаки охраны нашли прокаженных. Я тоже шел в этой группе, чуть [согнувшись], по высокому подвалу больницы.

Фундамент там был очень высокий. Разобрали бревна. В глубине, не вставая, лежали обнаженные оба прокаженных. Изуродованные темные руки Федоренко обнимали белое блестящее тело Лещинской. Оба были пьяны.

Их закрыли одеялами и унесли в одну из камер, не разлучая больше.

Кто же закрывал их одеялом, кто прикасался к этим страшным телам? Особый санитар, которого нашли в больнице для обслуги, давая (с разъяснения высшего начальства) по семь дней зачета за один рабочий день. Выше, стало быть, чем на вольфраме, на олове, на уране. Семь дней за день. Статья тут не имела на этот раз значения. Найден был фронтовик, сидевший за измену родине, имевший двадцать пять и пять и наивно полагавший, что своим геройством уменьшит срок, приблизит день возвращения на свободу.

Заключенный Корольков – лейтенант с войны – дежурил у камеры круглосуточно. У дверей камеры и спал. А когда приехал конвой с острова, заключенного Королькова взяли вместе с прокаженными, как обслугу. Больше я ничего никогда не слышал ни о Королькове, ни о Федоренко, ни о Лещинской.

1963

В приемном покое

– Этап с Золотистого!

– Чей прииск?

– Сучий.

– Вызывай бойцов на обыск. Не справишься ведь сам.

– А бойцы прохлопают. Кадры.

- Не прохлопают. Я постою в дверях.

- Ну, разве так.

Этап, грязный, пыльный, сгружался. Это был этап «со значением» - слишком много широкоплечих, слишком много повязок, процент хирургических больных чересчур велик для этапа с прииска.

Вошел дежурный врач, Клавдия Ивановна, вольнонаемная женщина.

- Начнем?

- Подождем, пока придут бойцы для обыска.

- Новый порядок?

- Да. Новый порядок. Сейчас вы увидите, в чем дело, Клавдия Ивановна.

- Проходи на середину - вот ты, с костылями. Документы!

Нарядчик подал документы - направление в больницу. Личные дела нарядчик оставил себе, отложил.

- Снимай повязку. Дай бинты, Гриша. Наши бинты. Клавдия Ивановна, прошу вас осмотреть перелом.

Белая змейка бинта скользнула на пол. Ногой фельдшер отбросил бинт в сторону. К транспортной шине был прибинтован не нож, а копье, большой гвоздь - самое портативное оружие «сучьей» войны. Падая на пол, копье зазвенело, и Клавдия Ивановна побледнела.

Бойцы подхватили копье.

- Снимайте все повязки.

- А гипс?

-ломайте весь гипс. Наложат завтра новый.

Фельдшер, не глядя, прислушивался к привычным звукам кусков железа, падающих на каменный пол. Под каждой гипсовой повязкой было оружие. Заложено и загипсовано.

- Вы понимаете, что это значит, Клавдия Ивановна?

- Понимаю.

- И я понимаю. Рапорта мы по начальству писать не будем, а на словах начальнику санчасти прииска скажем, да, Клавдия Ивановна?

- Двадцать ножей - сообщите врачу, надзиратель, на пятнадцать человек этапа.

- Это вы называете ножами? Скорее, это копья.

- Теперь, Клавдия Ивановна, всех здоровых - назад. И идите досматривать фильм. Вы понимаете, Клавдия Ивановна, на этом прииске безграмотный врач однажды написал диагноз о травме, когда больной упал с машины и разбился, «проляпсус из машины» - на манер «проляпсус ректи» - выпадение прямой кишки. Но загипсовывать оружие он научился.

Безнадежный злобный глаз смотрел на фельдшера.

- Ну, кто болен - будет положен в больницу, - сказала Клавдия Ивановна. - Подходите по одному.

Хирургические больные, ожидая обратной отправки, матерились, ничего не стесняясь. Утраченные надежды развязали им языки. Блатари материли дежурного врача, фельдшера, охрану, санитаров.

- Тебе еще глаза порежем, - задавался пациент.

- Что ты можешь мне сделать, дерьмо. Сонного зарезать только. Вы в тридцать седьмом пятьдесят восьмую статью и забивали палкой в забое немало. Стариков

и всяких Иван Ивановичей забыли?

Но не только за «хирургическими» блатарями надо было следить. Гораздо больнее было разоблачать попытки попасть в туберкулезное отделение, где больной в тряпочке привозил бацилльный «харчок» – явно туберкулезного больного готовили к осмотру врача. Врач говорил: «Харкай в баночку» – делался экстренный анализ на присутствие бацилл Коха. Перед осмотром врач больной брал в рот отравленный бациллами «харчок» – и заражался туберкулезом, конечно. Зато попадал в больницу, спасался от самого страшного – приисковой работы в золотом забое. Хоть на час, хоть на день, хоть на месяц.

Больнее было разоблачать тех, которые привозили в бутылочке кровь или царапали себе палец, чтобы прибавить капли крови в собственную мочу и с гематурией войти в больницу, полежать хоть до завтра, хоть неделю. А там – что бог даст.

Таких было немало. Эти были пограмотней. Туберкулезный «харчок» в рот бы не взяли для госпитализации. Слыхали эти люди и о том, что такое белок, для чего берут анализ мочи. Какая в нем польза больному. Месяцы, проведенные на больничных койках, многому их научили. Были больные с контрактурами – ложными, – под наркозом, под раушем, им разгибали коленный и локтевой суставы. А раза два контрактура, сращение было настоящим, и разоблачающий врач, силач, разорвал живые ткани, разгибая колено. Переусердствовал, не рассчитал своей собственной силы.

Большинство было с «мастырками» – трофическими язвами, – иглой, сильно смазанной керосином, вызывалось подкожное воспаление. Этим больных можно принять, а можно и не принять. Жизненных показаний тут нет.

Особенно много «мастырщиков» – женщин с совхоза «Эльген», а потом, когда был открыт особый женский золотой прииск Дебна – с тачкой, лопатой и кайлом для женщин, количество «мастырщиков» с этого прииска резко увеличилось. Это был тот самый прииск, где санитарки зарубили топором врача, прекрасного врача по фамилии Шицель, седую крымчанку. Раньше Шицель работала при больнице, но анкета увела ее на прииск и на смерть.

Клавдия Ивановна идет досматривать постановку лагерной культбригады, а фельдшер ложится спать. Но через час его будят: «Этап. Женский этап с

„Эльгена“».

Это этап – где будет очень много вещей. Это дело надзирателей. Этап небольшой, и Клавдия Ивановна вызывается принять весь этап сама. Фельдшер благодарит и засыпает и тут же просыпается от толчка, от слез, горьких слез Клавдии Ивановны. Что такое там случилось?

– Я не могу больше жить здесь. Не могу больше. Я брошу дежурство.

Фельдшер плещет в лицо пригоршню холодной воды из крана и, утираясь рукавом, выходит в приемную комнату.

Хохочут все! Больные, приезжая охрана, надзиратели. Отдельно на кушетке мечется из стороны в сторону красивая, очень красивая девушка. Девушка не первый раз в больнице.

– Здравствуйте, Валя Громова.

– Ну вот, хоть теперь человека увидела.

– Что тут за шум?

– Меня в больницу не кладут.

– А почему ее в самом деле не кладут? У ней с туберкулезом неблагополучно.

– Да ведь это кобёл, – грубо вмешивается нарядчик. – О ней постановление было. Запрещено принимать. Да ведь спала же без меня. Или без мужа...

– Врут они все, – кричит Валя Громова бесстыдно. – Видите, какие у меня пальцы. Какие пяти...

Фельдшер плюет на пол и уходит в другую комнату. У Клавдии Ивановны истерический приступ.

Геологи

Ночью Криста разбудили, и дежурный надзиратель провел его по бесконечным темным коридорам в кабинет начальника больницы. Подполковник медицинской службы еще не спал. Львов, уполномоченный МВД, сидел у стола начальника и рисовал на листке бумаги каких-то равнодушных птичек.

– Фельдшер приемного покоя Крист явился по вашему вызову, гражданин начальник.

Подполковник махнул рукой, и пришедший с Кристом дежурный надзиратель исчез.

– Слушай, Крист, – сказал начальник, – к тебе привезут гостей.

– Этап придет, – сказал уполномоченный.

Крист выжидательно молчал.

– Вымоешь их. Дезинфекция и прочее.

– Слушаюсь.

– Ни один человек знать об этих людях не должен. Никакого общения.

– Доверяем тебе, – разъяснил уполномоченный и закашлялся.

– С дезкамерой я один не управлюсь, гражданин начальник, – сказал Крист. – Там управление камерой далеко от смесителя с горячей и холодной водой. Пар и вода разобщены.

– Значит...

- Нужен еще санитар, гражданин начальник.

Начальники переглянулись.

- Пусть будет санитар, - сказал уполномоченный.

- Так ты понял? Никому ни слова.

- Понял, гражданин начальник.

Крист и уполномоченный вышли. Начальник встал, загасил верхний свет и стал надевать шинель.

- Откуда такой этап? - негромко спросил Крист у уполномоченного, проходя сквозь глубокий тамбур кабинета - московская мода, которой подражали везде, где были кабинеты начальников - штатских или военных - все равно.

- Откуда?

Уполномоченный расхохотался.

- Ах, Крист, Крист, никак не думал, что ты мне можешь задать такой вопрос... - И выговорил холодно: - Из Москвы самолетом.

- Значит, лагеря не знают. Тюрьма, следствие и все прочее. Первая щелочка на вольный воздух, как кажется им - всем, кто не знает лагеря. Из Москвы самолетом...

Следующей ночью гулкой, просторный, большой вестибюль наполнился чужим народом - офицерами, офицерами, офицерами. Майоры, подполковники, полковники. Даже один генерал был - низенький, молодой, черноглазый. Ни одного солдата в конвое не было.

Худощавый и рослый старик, начальник больницы, с трудом сгибался, рапортуя маленькому генералу:

– Все готово к приему.

– Отлично, отлично.

– Баня!

Начальник махнул Кристу рукой, и двери приемного покоя растворились.

Толпа офицерских шинелей расступилась. Золотой звездный свет погон померк – все внимание приезжих и встречающих было отдано маленькой группе грязных людей в истрепанных каких-то лохмотьях – но не казенных, нет – еще своих, гражданских, следственных, выношенных на подстилках на полах тюремной камеры.

Двенадцать мужчин и одна женщина.

– Анна Петровна, пожалуйста, – проговорил арестант, пропуская женщину вперед.

– Что вы, – идите и мойтесь. Я посижу пока, отдохну.

Дверь приемного покоя закрылась.

Все стояли вокруг меня и жадно глядели мне в глаза, пытаюсь разгадать что-то, еще не спрашивая.

– Вы давно на Колыме? – спросил самый храбрый, разглядев во мне «Ивана Ивановича».

– С тридцать седьмого.

– В тридцать седьмом мы все были еще...

– Замолчи, – вмешался другой, постарше.

Вошел наш надзиратель, секретарь парторганизации больницы Хабибулин, особо доверенное лицо начальника. Хабибулин наблюдал и за приезжими и за мной.

- А бритье?

- Парикмахер вызван, - сказал Хабибулин. - Это перс из блатных, Юрка.

Перс из блатных. Юрка, скоро явился со своим инструментом. Он получил инструкцию на вахте и только мычал.

Внимание приезжих вновь обратилось к Кресту.

- А мы вас не подведем?

- Как вы можете меня подвести, господа инженеры, - так, должно быть?

- Геологи.

- Господа геологи.

- А где мы?

- На Колыме. В пятистах километрах от Магадана.

- Ну, прощайте. Хорошая это штука - баня.

Геологи были - все! - с заграничной, зарубежной работы. Получили срок - от 15 до 25. И распорядилось их судьбой особое управление, где было так мало солдат и так много офицеров и генералов.

Колыме и Дальстрою «хозяйство» этих генералов не подчинялось. Колыма давала только горный воздух из зарешеченных окон, большой паек, баню три раза в месяц, постель и белье без вшей, крышу. О прогулках и кино речи не было еще. Москва выбрала геологам их заполярную дачу.

Какую-то большую работу по специальности предложили сделать начальству эти геологи – очередная вариация прямоточного котла Рамзина.

Искру творческого огня можно выбивать обыкновенной палкой – это хорошо известно после «перековки» и многочисленных Беломорканалов. Подвижная шкала пищевых поощрений и взысканий, зачеты рабочих дней и надежда – и вот рабский труд превращается в труд благословенный.

Через месяц приехал маленький генерал. Геологи пожелали ходить в кино, кино для заключенных и вольных. Маленький генерал согласовал вопрос с Москвой и разрешил геологам кино. Балкон – лоджия, где сидело раньше начальство, разгородили, укрепили тюремными решетками. В соседстве с начальством на киносеансы поместили геологов.

Книг из лагерной библиотеки геологам не давали. Только техническую литературу.

Секретарь парторганизации, больной старый дальстроевец, Хабибулин, впервые за свою надзирательскую жизнь собственными руками таскал узлы с бельем геологов в прачечную. Это угнетало надзирателя больше всего на свете.

Еще через месяц приехал маленький генерал, и геологи попросили занавески на окна.

– Занавески, – грустно говорил Хабибулин, – занавески им понадобились.

Маленький генерал был доволен. Работа геологов двигалась вперед. Раз в десять дней ночью отпирался приемный покой, и геологи мылись в бане.

Крист мало вел разговоров с ними. Да и что могли ему рассказать следственные геологи такого, чего Крист бы не знал за свою лагерную жизнь.

Тогда внимание геологов обратилось на парикмахера-перса.

– Ты не говори много с ними, Юрка, – сказал как-то Крист.

– Всякий фраер еще будет меня учить. – И перс выругался матерно.

Прошла еще одна баня; перс пришел явно выпивши, а может быть, «начирился» или «хватил кодеинчику». Только держался он слишком бойко, заторопился домой, выскочил с вахты на улицу, не дожидаясь попутного провожатого в лагерь, и в открытое окно Крист услышал сухой щелчок револьверного выстрела. Перс был убит надзирателем, тем самым, которого он только что брил. Скрюченное тело лежало у крыльца. Дежурный врач пощупал пульс, подписал акт. Пришел другой парикмахер, Ашот – армянский террорист из той самой боевой группы армянских эсеров, которая убила в 1926 году трех турецких министров – во главе с Талаат-пашой – виновником армянской резни 1915 года, когда был уничтожен миллион армян... Следственная часть проверила личное дело Ашота, и брить геологов ему больше не пришлось. Нашли кого-то из блатарей, да и самый принцип был изменен – каждый раз брил новый парикмахер. Так считалось безопаснее – не наладят связи. В Бутырской тюрьме так меняют часовых – скользящей системой постов.

Геологи ни о персе, ни об Ашоте ничего не узнали. Работа их двигалась успешно, и приехавший маленький генерал разрешил геологам получасовую прогулку. Это тоже было сущим унижением для старого надзирателя Хабибулина. Надзиратель в лагере покорных, трусливых, бесправных людей – начальник большой. А здесь надзирательская служба в ее чистом виде не понравилась Хабибулину.

Все грустнее становились его глаза, все краснее нос – Хабибулин запил решительно. И однажды упал с моста вниз головой в Колыму, но был спасен и не прервал своей важной надзирательской службы. Покорно таскал узлы белья в прачечную, покорно мел комнату, меняя занавески на окнах.

– Ну, как жизнь? – спрашивал Хабибулина Крист – как-никак они дежурили тут вместе больше года.

– Плохая жизнь, – выдохнул Хабибулин.

Приехал маленький генерал. Работа геологов шла отлично. Радуюсь, улыбаясь, генерал обходил тюрьму геологов. Генералу выходила награда за их работу.

Вытянувшись в струнку у порога, Хабибулин провожал генерала.

– Ну, хорошо, хорошо. Вижу, что не подвели, – весело говорил маленький генерал. – А вы, – генерал перевел глаза на стоявших у порога надзирателей, – вы обращайтесь с ними повежливей. А то я вас, суки, в гроб вколочу!

И генерал удалился.

Хабибулин, шатаясь, дошел до приемного покоя, выпил у Криста двойную порцию валерьянки и написал рапорт о немедленном переводе с работы на любую другую. Показал рапорт Кристу, ища сочувствия. Крист пытался объяснить надзирателю, что для генерала важнее эти геологи, чем сотня Хабибулиных, но оскорбленный в своих чувствах старший надзиратель не захотел понять этой простой истины.

Геологи исчезли в одну из ночей.

1965

Медведи

Котенок вылез из-под топчана и едва успел прыгнуть обратно – геолог Филатов швырнул в него сапогом.

– Чего ты бесишься? – сказал я, откладывая в сторону засаленный том «Монте-Кристо».

– Не люблю кошек. Вот это дело другое. – Филатов притянул к себе серого густошерстого щенка и потрепал его по шее. – Чистый овчар. Куси его, Казбек, куси, – геолог науськивал щенка на котенка. Но на носу щенка были две свежих царапины от кошачьих когтей, и Казбек только глухо рычал, но не двигался.

Житья котенку у нас не было. Пятеро мужчин вымещали на нем скуку безделья, – разлив реки задержал наш отъезд. Южиков и Кочубей, плотники, вторую неделю играли в шестьдесят шесть на будущую получку. Счастье было переменным. Повар открыл дверь и крикнул:

– Медведи! – Все опрометью бросились к двери. И так, нас было пятеро, винтовка была у нас одна – у геолога. Топоров всем не хватало, и повар захватил с собой кухонный нож, острый, как бритва.

Медведи шли по горе за ручьем – самец и самка. Они трясли, ломали, выдергивали с корнями молодые лиственницы, швыряли их в ручей. Они были одни на свете в этом таежном мае, и люди подошли к ним с подветренной стороны очень близко – шагов на двести. Медведь был бурый, с рыжеватым отливом, вдвое крупнее медведицы, старик – желтые крупные клыки были хорошо видны.

Филатов – он был лучшим стрелком, сел и положил винтовку на ствол упавшей лиственницы, чтоб бить с упора, наверняка. Он водил стволом, ища дорогу пуле между листьями кустов, начинающих желтеть.

– Бей, – рычал повар с побелевшим от азарта лицом, – бей!

Медведи услышали шорох. Реакция их была мгновенной, как у футболиста во время матча. Медведица помчалась вверх по склону горы – за перевал. Старый медведь не побежал. Повернув морду в сторону опасности и оскалив клыки, он медленно пошел по горе – к заросли стланиковых кустов. Он явно принимал опасность на себя, он, самец, жертвовал жизнью, чтоб спасти свою подругу, он отвлекал от нее смерть, он прикрывал ее бегство.

Филатов выстрелил. Он, как я уже говорил, был хорошим стрелком – медведь упал и покатился по склону в ущелье – пока лиственница, которую он сломал, играя, полчаса назад, не задержала тяжелого тела. Медведица давно исчезла.

Все было таким огромным – небо, скалы, что медведь казался игрушечным. Убит он был наповал. Мы связали ему лапы, продели шест и, качаясь от тяжести огромной туши, спустились на дно ущелья, на скользкий двухметровый лед, который еще не успел растаять. Волоком мы подтащили медведя к порогу нашей избушки.

Двухмесячный щенок, который за свою короткую жизнь не видел медведей, забился под койку, обезумев от страха. Котенок повел себя не так. Он в бешенстве бросился на медвежью тушу, с которой мы впятером снимали шкуру.

Котенок рвал куски теплого мяса, хватал крошки свернувшейся крови, плясал на узловатых красных мускулах зверя...

Шкура вышла в четыре квадратных метра.

- Пудов на двенадцать мяска-то, - повторял повар каждому.

Добыча была богатая, но так как вывезти ее и продать было нельзя, то она была разделена тут же поровну. Котелки и сковороды геолога Филатова кипели день и ночь, пока он не заболел желудком. Южиков и Кочубей, убедившись, что для расчетов по карточной игре медвежье мясо - материал неподходящий, засолили каждый свою долю в выложенных из камня ямах и каждый день ходили проверять сохранность. Повар упрятал мясо неизвестно куда - он знал какой-то секрет засолки, но никому его не открыл. А я кормил котенка и щенка, и мы трое расправились с медвежьим мясом благополучней всех. Воспоминаний об удачной охоте хватило на два дня. Ссориться стали лишь на третий день, к вечеру.

1956

Ожерелье княгини Гагариной

Тюремное следственное время скользит по памяти и не оставляет заметных и резких следов. Для каждого следственного тюрьма, ее встречи, ее люди - не главное. Главное же, на что тратятся все душевные, все духовные и нервные силы в тюрьме - борьба со следователем. То, что происходит в кабинетах допросного корпуса, лучше запоминается, чем тюремная жизнь. Ни одна книга, прочитанная в тюрьме, не остается в памяти - только «срочные» тюрьмы были университетом, из которого выходят звездочеты, романисты, мемуаристы. Книги, прочитанные в следственной тюрьме, - не запоминаются. Для Криста не поединок со следователем играл главную роль. Крист понимал, что он обречен, что арест - это осуждение, заклятие. И Крист был спокоен. Он сохранил способность наблюдать, сохранил способность действовать вопреки убаюкивающему ритму тюремного режима. Крист не раз встречался с пагубной

человеческой привычкой – рассказывать самое главное о себе, высказать всего себя соседу – соседу по камере, по больничной койке, по вагонному купе. Эти тайны, хранимые на дне людской души, были иной раз ошеломительны, невероятны.

Сосед Криста справа, механик волоколамской фабрики, в ответ на просьбу вспомнить самое яркое событие жизни, самое хорошее, что в жизни случилось, сообщил, весь сияя от переживаемого воспоминания, что по карточкам в 1933 году получил двадцать банок овощных консервов и, когда вскрыл дома – все банки оказались мясными консервами. Каждую банку механик рубил топором пополам, запершись на ключ от соседей – все банки были с мясом, ни одна не оказалась овощной. В тюрьме не смеются над такими воспоминаниями. Сосед Криста слева, генеральный секретарь общества политкаторжан, Александр Георгиевич Андреев, сдвинул свои серебряные брови к переносице. Черные глаза его заблестели.

– Да, такой день в моей жизни есть – 12 марта 1917 года. Я – вечник царской каторги. Волею судеб двадцатилетнюю годовщину этого события я встретил в тюрьме здесь, с вами.

С противоположных нар слез стройный и пухлый человек.

– Разрешите мне принять участие в вашей игре. Я – доктор Миролюбов, Валерий Андреевич. – Доктор слабо и жалобно улыбнулся.

– Садитесь, – сказал Крист, освобождая место. Сделать это было очень просто – только подогнуть ноги. Никаким другим способом освободить место было нельзя. Миролюбов тут же влез на нары. Ноги доктора были в домашних тапочках. Крист удивленно поднял брови.

– Нет, не из дома, но в Таганке, где я сидел два месяца, порядки попроще.

– Таганка ведь уголовная тюрьма?

– Да, уголовная, конечно, – рассеянно подтвердил доктор Миролюбов. – С вашим приходом в камеру, – сказал Миролюбов, поднимая глаза на Криста, – жизнь изменилась. Игры стали более осмысленными. Не то что этот ужасный «жучок», которым все увлекались. Ждали даже оправки, чтобы вволю поиграть в «жучка»

в уборной. Наверное, опыт есть...

– Есть, – сказал Крест печально и твердо.

Миролубов заглянул в глаза Кресту своими выпуклыми, добрыми, близорукими глазами.

– Очки у меня блатари забрали. В Таганке.

В мозгу Креста бегло, привычно пробегали вопросы, предположения, догадки... Ищет совета. Не знает, за что арестован. Впрочем...

– А почему вас перевели из Таганки сюда?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/varlam-shalamov/levyy-bereg-sbornik>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)